

Внимание! самодеятельных поэтов и прозаиков, фотографов и художников, рабочих корреспондентов: заканчивается литературно-художественный конкурс «Союз нерушимый».

Тех, кто намерен принять участие в конкурсе, просим поспешить, так как последний срок сдачи конкурсных материалов — 15 декабря.



Римма ДЫШАЛЕНКОВА

БАЛАТОН

На Балатоне не утонешь. И женщина в защитной куртке плавает себе по Балатону, как будто подсадная утка. Такая синяя волна, как сильная спина слона. И всюду, всюду неоглядно огромное слоновье стадо.

На Балатоне чайки стонут и яхты воду бороздят, и над просторным Балатоном светлеет венгра темный взгляд.

А мы на голубом пароме, как на игрушечном перроне, а рядом «Волга», «Форд», «Фиат», и два автобуса стоят.

И выпуклый, как будто линза, и всей Европой приручен, затылки наши лижет бризом интеллигентный Балатон.

Альба Регия. Сад руин.

Основан город тыщу лет назад великим венгром Иштваном Арпадом, об этом повествует древний сад и лапидарий каменного сада. Давным — давно болотная страна, дыша плодами, влагой и покоем, мадьярские прияла племена, как с битвы воротившихся героев. Смахнув рукой со шлема смертный чад даленных разрушительных набегов, велел здесь крепость заложить Арпад с названием неприступным «Альба Регия». Когда пополз душистый ситный дым от очагов и созвездия Стожары, уж подступили к стенам крепостным несметные монголы и татары. За их спиной распотанная Русь по камушну соборы собирала,

колоколов малиновую грусть хранила для условного сигнала. Но здесь под клики варварских мечей опала крепость в прах, и как ни странно, осталась братская могила королей, воинственных и безымянных. Уж их имен не назовет никто, жизнь истекла из царственных развалин, но сохранили камни торжество захоронений и коронований. По белым плитам, с крыши до земли багряная сползает повилика. Здесь, как солдаты, гибли короли... Оставим их в покое их великом. Оставим их, теперь двадцатый век, а за его спиной — курганы пепла. Нам нужен мир — единственный стратег — и дружеских рукопожатий крепость.

Над Будапештом листопад

Над Будапештом листопад, широколиственная осень. Ступеней мраморных насклад к чужим святыням нас возносит.

А где-то город наш родной хорошей светится улыбкой, и снова хочется домой, и снова хочется в Магнитку.

Мы пьем венгерское вино, друзей венгерских обнимаем, все в мире стройно и светло,

и мы тихонько напеваем: А где-то город наш родной хорошей светится улыбкой, и снова хочется домой, и снова хочется в Магнитку.

Увидеть много мы смогли, то вдалеке, то очень близко, но вдруг восстали из земли солдат советских обелиски.

Надгробий белые гряды, безукоризненно гранены, как будто мальчики в ряды равняют новые погоны.

Но так молчит за взводом взвод, что вдруг приходит понимание: здесь над могилами живет солдат посмертное молчанье. Молчанье стучит в виски, глаза туманит голубые, как будто просит увести с собой на родину, в Россию.

А где-то город наш родной, хорошей светится улыбкой, и снова хочется домой, и снова хочется в Магнитку.

Александр ПАВЛОВ

СЛУЧИЛОСЬ В НОЧЬ...

Мое умение выросло в кипении ночи, в гуле дня, в повадках жгучего металла, в науке стойкого огня.

И, как-то заново осмыслив судьбу рабочую свою, я стал крупнее и басистей и жил уже не на краю.

Назло смешкам и укоризне, хоть был не очень-то и смел, но все ж на всякий случай жизни от сердца мнение имел.

Беда же не дает поблажки... Неловко вспомнить и сейчас. Случилось в ночь, своей промашкой я закатыл простой на час.

Аж хворь от горя одолела. И надо ж было... Вот беда! Хоть прыгай вниз башкою смело, сгори, исчезни от стыда!

Стал слышным каждый крик и шорох, глядел корененный металл как будто в душу мне с укором, как будто тоже осуждал.

Мир сократился до предела, пути нежданно перекрыты, В ночи, изломанной и белой, жестоко виден был мой срыв.

Отшибло память от несчастия, лишь помню света колею, да как бригада больше часа ошибку правила мою.

Укоры слушать бы, насмешки... Но только длилось все в ночи, как будто в этой мерной спешке остротам не было причин.

Одно лишь говорили в общем: — Ну, что раскис? Еще мужик!.. Теперь-то ты уже вальцовщик, Браток, бывает, — не тужи!..

Мне с утешений горше было, потерянное не вернуть. Но благодарность скрытой силой теснила, волновала грудь.

И вот теперь, с дорог неблизких, поняв, что раньше и не знал, я кланяюсь вам низко-низко, всем тем, кто сердце понимал.

Из цикла «Едва война отполыхала...»

ПУТЬ К ОКЕАНУ

В. ТУМАНОВ

РАССКАЗ

Мы стояли на берегу Вори и смотрели на рыжий, как прокуренные усы, стог сена, который уплывал на серо-голубой льдине к мосту. Если сигануть с моста на льдину, приплывешь в океан. Приплыть в океан на стог сена без парусов и без мотора не каждому удастся. И мы побежали за льдиной.

Впереди бежал Женька Сухотин, за ним Витька Голубкин, потом Нинка Голубкина, в ногу с ней бежал Витька Гудков и, немного отстав от них, он, Славка Черныш. Он одет в солдатскую шинель, перешитую на его маленький рост с соблюдением всех формальностей, только без погон. Я бежал позади всех и больше всего меня злило, что славкина шинель такого же цвета, как сено в стогу, и мне почему-то казалось, что Славка первый добежит до моста и успеет прыгнуть на стог.

Льдина попала на быстрину — и наши пятки заработали во всю прыть. Женька Сухотин и Витька Голубкин уже подбегали к мосту, Нинка Голубкина бежала рядом со льдиной. Витька Гудков чуть позади. Я где-то потерял галошу и промошил валенок. А Черныш в своих кирзовых сапогах уже догонял Гудкова. Это же черт знает что! Приехал в деревню три дня назад и сегодня уже уплывает в океан. А я, природный деревенец, со срамом вернусь обратно.

Черта с два! Я замахал руками изо всех сил, догнал Черныша и ткнул кулаком в спину. Черныш упал. Я не стал его обгонять, дождался, когда он поднимется, и снова толкнул его. Он удержался на ногах и повернулся ко мне. В ту пору я не понимал, что выражают глаза человека, запомнил лишь, что у Черныша они были карими. Теперь-то я понимаю, что в них застыла недоуменная обида.

— Сладил? — спросил он.

— Сладил! — ответил я и хотел еще раз стукнуть его, но вспомнил, что надо возвращаться в школу.

И Черныш, словно угадав мою мысль, крикнул собравшимся на мосту:

— Эй, хлопцы, в школу пора!

Льдина прошла под мостом, ободрав макушку стога, и закружилась в буковиче. На стог так никто и не прыгнул. А я отметил, что глаза у Черныша такие же непроглядные, как это буковиче.

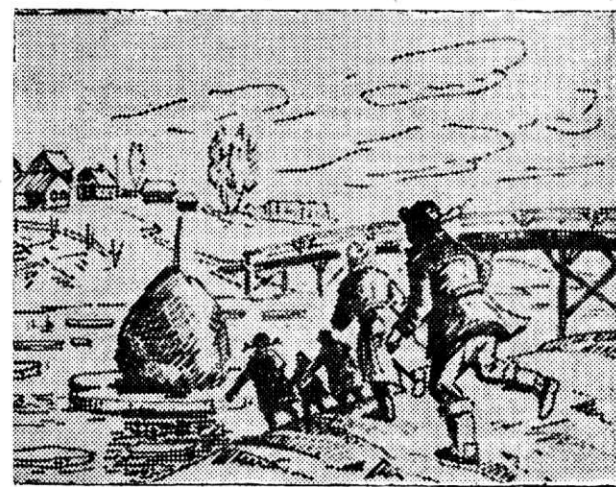
В школе его посадили за мою парту. Вначале со мной сидела Нинка Голубкина, но я дернул ее за косу, и она ушла на заднюю парту к Женьке Сухотину. Черныш показал Марии Мироновне свой учебник.

Никогда еще в третьем классе никто не решал пример из такого толстого задачника. Мария Мироновна перелистала книгу и сказала, что и в ней можно находить столбики, похожие на те, которые есть в нашем задачнике. Она спросила у Черныша, откуда он приехал. Приехал он с Под-

тавы, войну провел с бабушкой «под немцами». Дом их спалили — и каждую ночь Черныш и бабушка ночевали где придется, прося по украинским селам подаяние. А однажды, когда немцев только что прогнали, он с бабушкой подошел к железной кухне, где наши солдаты готовили обед, и сказал:

— Подайте Христа ради!

Это они сшили ему шинельку и сапожки. Но мне было не интересно все это слушать. Я сам видел войну. А теперь у нас полно и хлеба, и картошки. И если Черныш придет ко мне и скажет: «Подайте Христа ради!» я отдам ему всю сковородку толченой с молоком картошки, только поджаренную корку с нее сниму. Но он ко мне не придет. Он с бабушкой поселился у Сопляковых, у них тоже есть и картошка, и хлеб. И нечего много думать о Черныше.



Он не наш деревенец, и только из-за него я не уплыл сегодня в океан.

Мария Мироновна вызвала его к доске, продиктовала:

— Тридцать три — плюс один — минус пятнадцать...

А сколько будет, подумал я, если тридцать три страницы Чернышовой книжки залить чернилами, потом — еще одну и вырвать пятнадцать? Все смотрели на доску или в тетради. Я взял с парты Чернышовой книжку, положил себе на колени. Издана книжка была еще до того, как я на свет появился, — в 1936 году. А называлась «Математика для самообразования». Я открыл крышку непроливайки и, макая в чернила палец, начал замазывать строчки. Зачернилив страницу, я хотел было приступить ко второй, но Черныш получил пятерку и вернулся за парту.

— Справился, фашист проклятый! — сказал он. А книгу мне сам капитан Евгений Федорович подарил.

— Христа ради? — спросил я.

И тут у Черныша блеснули слезы. Чудак! Когда я его бил, не плакал, а тут от слова занюжил. Но девчонкой он не был. Взял книгу, вытер ладонью глаза и снова сказал:

— Ты — фашист! А Евгений Федорович сам учитель, и у него убили фрицы такого же хлопчика, как я.

— Почему я фашист? У меня тоже отца убили и мать умерла, — сказал я. — Ты добра не понимаешь.

На перемене он подошел к Нинке Голубкиной:

— Нина, пожалуйста, дай я сяду с Женьей.

Нинка вернулась ко мне. А через неделю приехал военный и увез Черныша в суворовское училище. Теперь слабее меня был только Витька Гудков. Я уже придумывал, как подражаться с ним. Но не успел. Женька Сухотин, Витька Голубкин и он пошли на переспашанное поле искать прошлогоднюю картошку. Лучше этой картошки еды не бывает, если ее на костре испечь. Хотел и я с ними идти, да бабка не пустила. Слово чужая, что добром этот поход не кончится — наткнулись ребятишки на немецкую мину. Мина вы-

била Витьке Голубкину глаз, Женьке поранило щеку, а Гудкову оторвало кисти рук.

Врачи вставили Витьке Голубкину стеклянный глаз, а Гудкову распилили кость на руке так, что получилось два толстых пальца, в которых держалась ручка. Гудков выводил в тетрадке такие каракули, что сам потом читал их Марии Мироновне. И она ставила ему четверку, а мне, хотя я и лучше его писал, лепила тройки.

После уроков мы играли в войну. Гудкову доставалось командовать нашими боями. А командовать должен был я, так как был на целую голову длиннее их всех, читал много книжек и перестал говорить «чаво» — чеканил по городскому «чего». А Гудков не мог даже выговорить «коза», «глаза». И я начал его передразнивать: «кыза», «глыза». Раз передразнил, два передразнил, а на третий раз он кинулся на меня. Я растерялся, и вскоре Гудков оказался сверху и бил меня раздвоенным обрубком не хуже, чем кулаком. Глаза у него были, как у Черныша, карие, и такая же обида светилась в них, хотя он и был победителем. Вскоре ему надоело колотить меня, он поднялся и протянул мне свои два пальца:

— Вставай!

...Рано мне было плыть к океану — слишком затянлось мое детство.